

жится гордо и прямо, и во рту его волшебная флейта. Та, что любила меня когда-то, вышла это для меня. И так же, как сохранилась у меня ее красивая подушка с чудной символической картинкой, хотелось бы мне, чтобы и в ее душе осталось от меня что-то ценное!

Из вещей, которые сопутствуют мне с недавнего времени, мне особенно дорога красивая стеклянная ваза в форме старинного кубка, подарок моей подруги. Чаще всего в этом прозрачном кубке стоят несколько цветков, цинний или гвоздик, или маленькие изящные полевые цветы. Когда я впервые увидел кубок и получил его в подарок, в нем стоял букет светло-голубых дельфиниумов, я очень хорошо его запомнил, такой воздушной и неземной казалась голубизна над бесцветностью стекла. Тогда стояло сияющее лето, и по вечерам предпринимались прогулки по лесным окраинам, вдоль виноградников, которые еще не успели отцвести, и голубой, как дельфиниумы, висел над нами летний небосвод.

Холодает, и дождь усиливается. Дождь падает на цветы, на голубой виноград, на переменившие окраску леса. Мне приходится отправиться на поиски керосиновой печки, и перед этим мерзким маленьким идолом пасть на колени и ублажать его, чтобы он, возможно, разгорелся опять и давал тепло. Маленькая цветочная ваза пуста. О, какими голубыми и летними были цветы в ней когда-то!



СНЫ

С моря донесся протяжный парходный гудок. Доктор Цамакион вздрогнул и оторвался от рисунка. Он долго глядывался в темноту через раскрытую балконную дверь, как будто старался уловить нечто, витавшее в невидимом пространстве. Ему почудилось, что меж деревьев скользнула тень, а, может, то было дуновение, вызвавшее движение веток... Но нет... Оно затаилось... и следило за ним... Он медленно повернул голову и подставил ухо к дверному проему, прислушиваясь к ночным звукам... Ничего... Должно быть, убежало... спряталось... но Оно вернется, еще сегодня... во сне... Он бросил взгляд на рисунок — оскалившийся в злобной усмешке паук в центре огромной паутины, из которой рвется терзаемый мозг...

Георгий Дмитриевич отложил перо и вышел на балкон. В ночном воздухе запахи были острее — пряность акации и дурман ночных цветов путали мысли. Он поднял голову... Перед балконом метнулась летучая мышь... Снова что-то зашевелилось в листве... Доктор глубоко вдохнул и решительно шагнул к решетке. Он расставил руки, словно собирался взлететь над деревьями, чтобы устремиться к морю, замереть над ночной водой и нырнуть глубоко, до самого дна, где прятались его кошмары — огромные рыбы с пастью дракона... Голова закружилась... Он оперся о перила и долго стоял, наклонясь.

Дни завершались ритуальной проверкой замков и кефиром перед сном. Марфа Викторовна целовала мужа в лоб и отправлялась в спальню; он ладонями растирал виски перед тем, как взяться за перо или кисть... Рисование сделалось для него отдушиной — будоражило воображение, отвлекая от тревоги, давно ставшей привычной спутницей.

Письма от дочери на грубой желтой бумаге приходили два раза в год. После прочтения очередного письма Марфа Викторовна уносила его в спальню, прижимала к губам и долго молилась перед потертыми образами, которые извлекла на свет после ареста Лиды.

Вслед за дочерью забрали брата и золовку Марфы Викторовны, потом его друзей и коллег по медицинскому институту... Тоскливая неизбежность приближала момент знакомого визга тормозов, топота по мраморной лестнице, грохота кулаков в дверь... Странно, но за ними не приходи-

ли, хотя они чувствовали, что о них не забыли и участи их не отменили. Георгий Дмитриевич продолжал читать лекции в мединституте, консультировал больных в городской психбольнице и, не вникая в суть "громаша", голосовал за все, что предлагали "товарищи".

Теперь они редко выбирались в гости — все меньше оставалось знакомых, все опаснее становилось общение... Частенько Георгий Дмитриевич запирался в кабинете и напивался до "ползучего просветления". И уже не было прогулок у моря и разговоров обо всем на свете... Марфа Викторовна беспомощно вела односторонние переговоры перед дверью, взывала к чести, упрекала мужа в малодушии и завершала увещания горькими рыданиями. Георгий Дмитриевич считал запои "профилактическим противостоянием реальности", ни в чем не раскаивался и едко иронизировал над жениными причитаниями. Тогда же ему стали являться фантастические фигуры... С каждым пациентом их становилось больше. С ними он вел доверительные беседы и отправлялся в дальние странствия... с зажженным семисвечником, и всегда на плоту...

Весомее всех прочих был Трубный Голос... Он-то и подготовил доктора взяться за краски... Временами Голос нашептывал ему диковинные стихи. Наиболее удачный он показал Марфе Викторовне. Она, не говоря ни слова, вынула из шкафа томик Джона Донна. Доктор был потрясен, когда прочел те же строки. Спустя несколько дней он принес новое стихотворение, которое звучало по-другому. На всякий случай они просмотрели весь сборник Донна, но ничего похожего не нашли; и тогда Марфа Викторовна сказала, что Жоржик сочинил "шедевр из несуществующих форм". Его захватило писание "нечитанных" стихов. На какое-то время он даже отставил рисование, более того — перестал пить.

Мозг преследовала одна строфа, но как только он пытался записать ее, ускользала. Он поймал ее во сне, поднялся с постели и пилочкой для ногтей нацарапал на ставне. Через несколько дней Марфа Викторовна обнаружила повреждение. Георгий Дмитриевич смущенно всматривался в свой почерк; с удивлением проводил пальцем по плоту и распущенному парусу, выцарапанному под неровными буквами. Стих ему понравился. Он его сразу запомнил.

В последнее воскресенье октября Марфа Викторовна проснулась и поняла, что муж не ложился спать. Она подошла к двери кабинета и прислушалась: голос Жоржа звучал неожиданно радостно, а глухой, незнакомый — все время смеялся. Марфа Викторовна постучала:

— Жоржик?

— Входи... входи, Марфуша... Смотри, с кем я тебя познакомлю!

Марфа Викторовна застыла в дверях, недоверчиво разглядывая странную фигуру, нарисованную мужем в проеме меж балконными дверями. Это было толстое создание, похожее на Ганеши. Голову его прикрывал парик с длинной косой, какую носили в Англии XVIII века. Шеи не было... Ушей тоже... Шесть ушных раковин были попарно размещены на хоботе, как клапаны на кларнете. Пальцы заканчивались лиловыми когтями. В правой руке оно держало трость с набалдашником в форме гончей. Через пуговичную петлю на животе был пропущен тонкий хвост с львиной кисточкой на конце. Одна нога была выставлена далеко вперед, отчего была намного длиннее второй на заднем плане. Но самое главное, оно шевелилось!.. Оно двигалось, не выходя из стены!..

— Позволь представить тебе, — улыбнулся ей Георгий Дмитриевич, — Отраженная Мудрость, или Пришибент. Он необыкновенно умный, потому что... Ради Бога, не делай такое лицо... Я вполне в себе... и даже более... Впервые чувствую, что моя суета обретает смысл...

— И еще, — голос Георгия Дмитриевича упал до шепота, — он будет копить нам годы! Мы должны жить долго! Я теперь ясно представляю, когда Лидочка вернется, у нее будет новая жизнь... И куча цамакинят!.. Марфуша, ты плачешь? Ну что ты?.. Ты постарайся понять! Все, кто захотят общаться с Отраженной Мудростью, будут платить своим земным временем. Он будет собирать его для нас... Наматывать вот на этот хвост, а мы, разматывая его, будем продлевать нашу жизнь... Теперь поняла?

Марфа Викторовна стояла с закушенной губой. Ее тело содрогалось от мелких всхлипов. Георгий Дмитриевич подошел к ней, поцеловал и повел к дивану. Она припала к нему, обхватила его голову и зарыдала:

— Жоржик, дорогой, другой поры не будет... Как ты не понимаешь? Это вся наша жизнь! Вся!

— Позволю себе заметить, — голос со стены деликатно кашлянул, — ваше расстройство очевидно, но не оправдано с точки зрения факта, поскольку расстройства Создателя как такового не наблюдается. Проецирование оного вследствие имманентной интерпретации непонятных вам явлений вызвано вашими же опасениями. Вы, многоуважаемая, живете под воздействием накопленных предрассудков, которые почему-то именуются здравым смыслом. В этом отношении...

Пришибент замолк, как только доктор махнул рукой. Марфа Викторовна оторвалась от мужа и со смесью ужаса и любопытства смотрела на двигающееся в стене...

— Оно... Он... разговаривает? — она обернулась к мужу.

— Ну, разумеется! Я же тебе объяснял, а ты решила, что я помешался.

— Жоржик, но ведь он неживой? Как же он может говорить и двигаться? Он может выйти из стены? Господи, а вдруг они увидят его?..

— Опять твои вечные страхи. Никто его не увидит. Он — мысль, которая не слышна, пока не высказана. И убежать он не может... Сознание не бывает самостоятельным... Ты привыкнешь... В результате наблюдений над пациентами я пришел к выводу, что иррациональность их реальности является отклонением лишь с точки зрения рациональной ирреальности, в котором живем мы... Поэтому судить, какая форма большее помешательство, само по себе нерационально...

— Но те, кто решают за нас... Они же растопчут...

— Они-то как раз из аномальных... то есть они реальны, но их рациональность абсурдна, потому что держится на страхе. Все, что они делают, противоречит логическому течению времени. Рассуди сама, время в истории подобно жидкости в сообщающихся сосудах. Оно, в конечном счете, нивелирует прошлое и спрямляет его с будущим. Поэтому любая попытка изменить историю на самом деле является попыткой искривить время, а это, как я тебе только что объяснил, невозможно с точки зрения хода самого времени... Мда-а... Судя по выражению твоего лица, я несущу чепуху. Давай попробуем по-другому...

— На мой слух и разумение, вы, доктор, изложили мысль кристально!

Пришеент поджал короткую ногу и отвесил поклон. Одной рукой он упирался о трость, а второй придерживал удлинившийся хвост.

Марфа Викторовна приблизилась к стене. Георгий Дмитриевич подошел сзади и обнял жену за плечи. Вдвоем они молча разглядывали застывшую меж балконами фигуру...

Перед Рождеством Георгий Дмитриевич показал жене триптих "Искушение", над которым трудился больше месяца. Когда Марфа Викторовна увидела картину, она прижала обе руки ко рту. Наконец, присела на краешек дивана и робко спросила:

— Жорж, ты точно знаешь, что это твоя работа?

Георгий Дмитриевич насторожился... Марфа Викторовна, опережая реакцию мужа, выдохнула:

— Она абсолютная копия Боша! Я только вчера на работе перелистывала его альбом.

На следующий день они вместе поехали в консерваторскую библиотеку. Марфа Викторовна нашла альбом, и Георгий Дмитриевич с жаднос-

тью стал разглядывать детали "Искушения святого Антония". Сомнения не было... Его... То есть, не совсем его... Вернее, его работы вовсе не было... потому что... он создал нечто давно существовавшее... У него мелькнула мысль, что и стихи, напечатанные ему в последнее время, возможно, были написаны кем-то иным или... скорее всего, будут написаны кем-то: ни Марфе, ни другим любителям поэзии они не были известны.

К полуночи он записал новое стихотворение. Чтобы не будить жену, Георгий Дмитриевич прилег на диване. Во сне складки его лица разгладились. Он улыбался и повторял: "Тогда непременно...".

...Темное море... Тихие всплески воды на лунной дорожке... Плот, качиваясь, скользит вдоль берега... Под бронзовым семисвечником на верхушке мачты в ожидании ветра замер опавший парус...

Стоя посреди плота, Огла-Голы, черная крыса с моноклем на золотой цепи, нетерпеливо вскидывает костыль и властным голосом отдает команды. Бурые крысы в голубых погонах суетливо перебегают с одной стороны на другую... принюхиваются дрожащими носами к воде, задирают морды со слипшимися волосками и снова кучкой кидаются к противоположному краю. Огла-Голы опускает костыль. Из его гортани вылетает визгливая смесь тритарских проклятий. Крысы настораживаются и замирают от страха. Из воды с воем выныривают свирепые рыбы, зависают в воздухе и хватают несколько обмякших тел с деревянного настила. Одна из крыс теряет равновесие, в отчаянии скребет воздух тремя лапами над водой... и падает в разинутую пасть... Оставшиеся мгновенно бросаются на противоположную сторону... Но там их уже ждут новые драконы морды... Последние крысы исчезают в чавкающих челюстях огромного хохочущего чудовища, которое взбивает хвостом воду и пропадает в ее толще. Вслед за ним остальные рыбы вваливаются в глубину моря. На плоту, укрытый парусом, ни жив ни мертв Огла-Голы...

Лунная дорожка все сильнее подергивается рябью... Воздух дрожит — выдавливает парус... Плот вздрагивает и по всклокоченной воде уносится в рыхлую темень. Ветер нагайкой хлещет воздух... Волны пенятся на загравках, возносятся и с грохотом сваливаются в пустоту.

Бьют часы в темном далеке! По лабиринту идеального королевства пустилось в бег время скитаний...

Над обрывом всадник скачет на синей лягушке. Он впиается шпорами в широкие бока и выкрикивает непонятные слова, которые уносит

свистящий ветер. Лягушка разбегается, отрывается от суши в затыжном прыжке...

...и шлепается на пол в кабинете доктора Цамакиона; ее голова почти-тельно сгибается к копытам. Черная крыса неукложе выползает из седла и падает ниц перед Создателем. Костыль отлетает в сторону.

— Вставайте, Огла-Голы! Оставим церемонии... Мы рады видеть вас: я и Пришиент, — доктор переходит на шепот: — Прошу вас, уважьте его... Он постоянно жалуется, что им пренебрегают... Ко всем моим заботам приходится еще внимать чужим капризам, — и снова обычным голосом: — Вы вполне могли бы переслать отчет с курьером снов Фитц-Ригизи. Странно, что вы не пользуетесь его услугами. У меня мало времени. В приемной Посол Нирвандии... Отпустите вашего квапрыгу...

Огла-Голы цыкает на лягушку. Та вздрагивает, раздувает грудь и выскакивает из сна. С костылем подмышкой он осторожно продвигается к пространству между балконами и поднимает усталые глаза:

— Отраженная Мудрость, позвольте преподнести вам мгновения моей жизни...

Хобот Пришиента шевелится. Нижняя губа раздвигается в улыбке:

— Удовольствие видеть вас снова может сравниться только с удовольствием видеть вас прежде. Как прошла ликвидация, любезный Огла-Голы? Вы избавились от всей команды... Не расстраиваетесь?.. Так и надо! Думаю, вы позаботитесь об их вдовах по схеме... Хе-хе... Не в том смысле, конечно, а в смысле, чтобы не было умысла... Ненавижу страдальцев... От них ничего, кроме коварства... Вы понимаете? Удивляет, что до сих пор вы верили... Впрочем, вы спаслись, и плот еще плывет... Доктор наверняка разделяет... Доктор, я постоянно забываю спросить вас...

Пришиент поджимает длинную ногу и задумывается. Тело его подается назад, голова откидывается глубоко в стену. "Доктор, сумеете ли вы сказать значительные слова или еще лучше каламбур... перед смертью?.. Мне бы хотелось, когда сия наступит, иметь предмет для долгих рассуждений. К примеру, Джон Донн... Помните, "The Kingdom come, Thy will be Donne"¹. Замечательно! Даже после жизни он позволяет себе волновать Воображение... Или, вернее, Воображение позволяет ему... Я все пытаюсь вспомнить того... другого, который напишет элегию о Донне. Не припомните ли имя, доктор? На будущих пророков память слаба... Дробски?.. или что-то близкое к этому... И вы не помните? Жаль! Его свечи уже зажжены... Что вы?.."

¹ "Царствие Твое грядет, и Твоим будет Донн" или "Царствие Твое грядет, и да будет воля Твоя".

Пришиент вытягивает хобот в сторону доктора, и все шесть ушных раковин настороженно замирают.

— Вышло время?

Доктор корчит недовольную гримасу и ладонью рассекает воздух. Хобот Пришиента медленно втягивается в стену. Ему хорошо знаком цамакионовский жест раздражения.

Однако доктор не вопит и не мечет чернильницу в стену. Он подносит руку ко рту, постукивает по нижней губе указательным пальцем... и смеется:

— Я все же поразмыслию над твоим вопросом и, возможно, сочиню впрок что-нибудь подходящее. Уверен, что преподобный Донн обдумал свои последние слова загодя. Экспромт на смертном ложе?.. Сомневаюсь! Впереди у меня много времени для подобных мыслей. Еще в Неаполе Марфа Викторовна затащила меня к гадалке — по картам мне выпал долгий век... Однако пришло же Марфуше такое в голову!.. Не иначе как она подслушала...

— Ах, Доктор, сентиментальные причуды неофитки! В 1912 году молодые дамочки были изрядно экзальтированы. Новая поэзия... новая живопись... и эти... как их?.. внебрачные дети просвещения — "революционные иллюзии"... О чем это я?.. А-а... да... Если Донн сочинил прощальную шутку заранее, то почему Марфа Викторовна не могла забежать к гадалке перед вашим приходом и подговорить ее ублажить ваш слух доброй вестью? Ведь ваша жена знала, как гнетет вас груз наследственности! Я вот, когда размышляю о времени...

Огла-Голы нервничает. Диалог между Создателем и Пришиентом ведется за счет его, крысиной, жизни. Отраженная Мудрость, когда дело касается чужого времени, пропускает замечания мимо хобота. Огла-Голы поворачивается к доктору Цамакиону и издает просительный писк. Доктор всплескивает руками. Пришиент умолкает.

Создатель переводит глаза на Огла-Голы и виновато покачивает головой:

— Mea culpa... Сколько ни даю себе слово, забываюсь... Вам следовало пискнуть много раньше.

— Заслушался, доктор... было занятно... и неудобно перебивать...

— Он это делает сознательно, чтобы потянуть как можно дольше за чужой счет... Ведь знает, как увлекает его пустословие... Каждый раз ловлюсь на одну и ту же удочку. Недаром во сне кажется, что все происходящее уже происходило...

Закат... Бронзовое море мягко катит завитушки воды... Смутная точка выплывает на горизонте и, постепенно увеличиваясь, превращается в плот. Вот уже видны оплывшие огарки свечей на мачте... Ветер выгибает парус с большими буквами: J. D. То ли из воздуха, то ли из воды долетают размеренные слова:

To him for whom the passing bell next tolls,
I give my physick books; my written rowles
Of Morall counsels, I to Bedlam give;
My brazen medals, unto them which live
In want of bread; To them which passe among
All forrainers, mine English tongue.
Thou, Love, by making mee love one
Who thinkes her friendship a fit portion
For younger lovers, dost my gifts thus disproportion...¹

Описав круг посередине бухты, плот удаляется к горизонту, постепенно сжимаясь в блуждающую точку. И снова то ли снизу, то ли сверху доносится голос, но на сей раз другой, распевный... как будто падает и взлетает на качелях...

Почему-то стало трудно дышать... Что он делает?.. Пришеент!.. Убери хвост! Ты же душишь меня! Прекрати немедленно...

Хобот многократно обрушивается на голову и грудь доктора. Уродец замирает на минуту. Затем боязливо толкает тело длинной ногой... Убедившись, что оно безжизненно, наносит последний удар и раскручивает хвост...

И сквозь багровый туман в умирающем мозге доктора та самая удавка, которую он пытался разорвать всю жизнь, затянулась, и сон остановился.

¹ Стихи Джона Донна в переводе С. Степанова:
*И колокол звонит по ком, пусть тот
Лечебник и лекарство заберет;
Том поучений отдаю в Бедлам;
Античные монеты — беднякам;
Тому, кто за границей жить привык, —
Даю английский мой язык.
Любовь, ты много лет подряд
Гнала туда, где юных лишь дарят
Любовников. Мои дары днесь столь же невопад!*

Наутро Марфа Викторовна обнаружила в кабинете остывший труп мужа. Минуту... другую смотрела она на изменившееся лицо Жоржа... безвольно упала на колени и завывала...

Приятель Цамакионов, Николай Алексеевич Полторацкий, обратился с просьбой произвести вскрытие к ведущему патологоанатому, профессору Житковскому. Тот самым тщательным образом изучил внутренние органы, мягкие и костные ткани, но ни к какому выводу прийти не смог. Причина смерти оставалась неясной... до момента, когда санитар, гримирующий трупы, обнаружил множественные кровоподтеки, переломы костей и аккуратный черный обвод на шее. Профессор Житковский был потрясен открывшейся картиной. Всего за два дня до того признаки насилия отсутствовали. После похорон Николай Алексеевич встретился с Марфой Викторовной и подробно описал ей состояние тела со слов профессора Житковского. Ни у Марфы Викторовны, ни у профессора Житковского не было объяснения неестественным явлениям, последовавшим за вскрытием...

Марфа Викторовна долго не решалась приступить к разбору картин и рисунков мужа. Когда же она, наконец, открыла двери стенового шкафа, ничего, кроме нескольких фотографий и двух незавершенных акварелей, не нашла. У нее мелькнула мысль, что они... Но как они могли проникнуть в дом? Впрочем, они все могли! Непонятно было, зачем им понадобилось делать это тайно... ведь могли запросто прийти с обыском... А, может, то были не они?.. Ответа Марфа Викторовна не находила. Работы пропали. Только после смерти Жоржа разве это имело значение?..

— Все так, — повторяла она про себя, — а что не так, уже произошло.

Через восемь лет она дождалась возвращения Дочери. Дочь по-прежнему исповедовала "чуждую мораль", однако обновленная власть проявила снисхождение. Когда Лидия Георгиевна появилась в городе, ее вызвали повесткой в главное здание ЦСБ, где предупредили, чтобы впредь не вела "ненужных разговоров". Она спросила, какие разговоры считаются "ненужными", и ее отправили в камеру "за хулиганство во время беседы в Центральной Службе Безопасности".

В сорок три Дочь выглядела не моложе матери, отчего они были похожи на сестер с той лишь разницей, что глаза Марфы Викторовны лучились, а у Лидии они потухли.

В последнюю среду каждого месяца, за исключением скользкой зим-

ней поры, Марфа Викторовна отправлялась в Успенский собор и ставила свечи за упокой души усопших родителей, мужа и расстрелянного брата. Дочь провожала мать до входа в православный храм и отправлялась в костел, в котором тоже поминала отца, бабушку и еще одного мужчину из долагерной жизни. После службы она поджидала мать у собора, и обе возвращались в комнату с двумя балконами. Другие комнаты власть передала полковнику, которому эта квартира давно нравилась. Полковник пригнал четырех солдат, прочертил мелом линию на полу и приказал разгружать кирпичи: — Вот тут!

Солдаты под присмотром доверенного капитана отсекали от длинного коридора закуток, через который старухам Цамакион оставался проход в их комнату, строго по линии возвели стену и установили в ней дубовую дверь с глазком. Так в пяти отчужденных комнатах полковник упрятал свою драгоценную для отечества жизнь. Кухня, туалет и ванная, естественно, оказались за новой кирпичной стеной. Полковник рассудил, что сроку двум беспомощным "тварям" отведено немного, и за то время, что будут кружить их жалобы по инстанциям, то ли мать, то ли дочь непременно отдаст душу, а той, что выживет, будет не до тяжбы. При удачном же раскладе обе не протянут долго, или того возможнее: жалобы изотрут-ся на новом кругу. Сам полковник рассчитывал жить вечно. По крайней мере, собственная смерть в его планы не входила.

Но старухи тянули и тянули... Они даже приноровились готовить еду на керосинке. Проблема была с доставкой воды. Поэтому те знакомые и даже незнакомые, кто навещал их, приносили бутылку-две обыкновенной воды. Вскоре большая комната превратилась в хранилище стеклотары. Но и тогда выход был найден: каждому уходящему при прощании вручали две пустые бутылки... Однажды у них произошел пожар. От керосинки, пристроенной в проеме между балконами, загорелась копившаяся рядом стопка "L'Humanité". (Марфа Викторовна полагала, что новости по-французски звучат правдивее, и потому читала единственно доступный на этом языке "орган"). К счастью, сгорели только газеты. Копоть толстым слоем укрыла фреску покойного доктора. В яркий солнечный день видны были контуры причудливого хобота, взметнувшегося к потолку.

Приятельница Марфы Викторовны по немислимым гимназическим временам, Леонтия Казимировна, настоятельно рекомендовала пригласить маляра Василия Харитоновича, который по старой памяти взял бы недорого за покраску стены. ("Да знаешь ты его, Марфуша. Сын дворни-

ка в доме моего деда на Маразмалиевской... с веснушками и синими глазами... Мы еще с тобой дразнили его "Рыжеглазик"... Как же ты не помнишь?.. Ну, тот, что получил десять лет за шутку про Вождя... Чтобы я рассказала шутку?.. Нет, ты явно не в своем уме!.."). Только мать и Дочь никак не соглашались, а все поговаривали о том, чтобы позвать Тамару из музея и посоветоваться, как удалить сажу с фрески.

— Во снах проблемы всегда нелепее, приключения страшнее, а жизнь ненормальнее. И тогда открывается правда, сокращается пространство и смещается время... А может, сны — преломление жизни в более объективных формах, потому что в них нет необходимости подавлять сознание усилием воли... Интересно, какого цвета Надежда? — рассуждал про себя Пришиент. — Может быть, она салатная или нежно-персиковая... Лазурный — тоже красивый... Красная? Нет, красный очень тревожит... Она легкая, прозрачная... как шуршанье времени в ворохе осенних воспоминаний... неуловимая и обещающая... Нет-нет... Надежда не может обещать... Она и есть обещание... И еще: она может стекать каплями, грязными от сажи...

В какой-то день в дверь к Цамакионам постучал участковый и прокричал через щель, что прислан разобраться в жалобе. Мать и Дочь переглянулись и подумали, "наконец-то...". Поспешно отстегнули дверные цепочки и радостно приветствовали посланника Справедливости... Младший лейтенант, размахивая худенькой картонной папочкой, которую назвал "ваше дело", строго посмотрел на старух и представился: "Участковый уполномоченный И. Требухов". Затем по-деловому подошел к простенку, поскоблил пятно двумя пальцами и удовлетворенно буркнул: "Понято!".

Марфа Викторовна втянула голову в плечи и замерла с полуоткрытым ртом. За долгую жизнь у нее выработались две реакции на подобные заявления: она либо сомневалась, либо пугалась. В данном случае сработали обе. От слабости в ногах она опустилась на стул.

— Что же вам "понято"? — строго спросила Дочь. Участковый не отвечал: он сосредоточенно писал в серой папочке. Закончив творить, он еще раз огляделся и громким голосом объявил:

— Значится так! Зачитываю акт проверки. "Акт проверки. Проверка показала что гражданки Цамакионы в количестве двух занимают жилплощадь непригодную для проживания тем самым подвергая общесность и соседей опасности воспламинения. По заявляному факту установлено что Цамакионы систиматически живут в нарушение законодательства.

Самовольно разведя открытый огонь в условиях не обеспечивающих безопасность жилища и нарушая гигиенические нормы с двумя кошками без водопровода в ванной комнате создается возможность вспышки массовых забаливаний. Огонь падая на гражданками Цамакионы привел к загаранию внутренности наружной стены. В результате нанесенных разрушений с фактом подгарания поверхности считаю целесообразным отселить обоих в семейное общежитие барачного типа".

Младший лейтенант поднес папку к Марфе Викторовне и приказал: "Распишитесь, гражданка!".

— Молодой человек, моя мать прожила здесь всю свою жизнь. Этот дом построен нашими предками. Мы отсюда никуда не уедем, как бы вы ни желали угодить тем, кто вам поручил нас выселить.

— Ну, с этим у нас просто: не понимаете момента, подгоним машину и вывезем... ко всем собачьим... для пользы дела...

Младший лейтенант усмехнулся наивности старух и помахал на прощание могущественной папочкой.

Марфа Викторовна сидела на балконе и костлявыми пальцами стягивала на груди концы дырявого вязаного платка. Напротив, на маленькой скамейке, примостилась Дочь.

— Мне страшно... — в который раз повторила Марфа Викторовна. — Надо что-то делать... Куда-то надо пожаловаться... Они не имеют права...

— Мама, они лишили эти слова значений и раскроили жизнь по законам своих прихотей... Я считаю, пришло время освободить Пришибента... Ты говорила, папа оставил тебе секрет вызволения его из стены...

— Нет-нет... это опасно... Он непредсказуем... Ты разве не понимаешь, что Пришибент — стукотка капризов папиного ума?

— Именно поэтому мы обязаны его отпустить. Иначе он погибнет под слоем известки или масляной краски...

— Думаешь, комната достанется полковнику?

— Скорее всего... Надо сегодня же позвать Тамару. Я пойду, позвоню ей?

— Нет... Мы никому не можем раскрыться...

— Что же ты предлагаешь, мама?

— Давай попробуем отмыть его... В худшем случае он поблекнет...

— Ты помнишь заклинания? Их, кажется, два?

— Господи, как же они?... Первая строфа из Джона Донна, а вторая... э-э... забыла имя того поэта... Как у сахарозаводчика до революции... Вторая

строфа... Она записана... Бог мой! Она же на ставне в нашей спальне... то есть, у полковника.

Плот стремительно неся к скале. Неверным огнем догорала последняя свеча. Парус спутался вокруг мачты; и выбившийся снизу кусок метался на ветру. Скрипели бревна. Вдруг все сникло, и наступила прозрачная тишина...

Джон Донн уснул. Уснуло все вокруг.

Уснули стены, пол, постель, картины.

уснули стол, ковры, засовы, крюк.

весь гардероб, буфет, свеча, гардины.

Уснуло все...¹

Пришибент почувствовал, как слеза скатилась внутри сна. Ему хотелось вздохнуть, но не позволяла скованность. Единственно доступным занятием было размышление. Впрочем, не единственным! Давным-давно, еще при жизни Создателя, когда тому случилось заснуть в кабинете, Пришибент обнаружил, что способен тайно подглядывать его сновидение. Волнение по поводу состоявшегося открытия было настолько велико, что вопреки законам плоского пространства он изогнул хвост дугой, да с такой силой, что хвост переломился, и в стене образовалась лунка. Впоследствии доктору пришлось перекрасить весь хвост в зеленый, потому что коричневая краска кончилась. Разумеется Создатель ни о чем не догадывался, а Пришибент не считал необходимым раскрывать свои побочные способности. В конце концов, в стене он имел право на тайные радости...

Сны Матери были на итальянском и французском. Благодаря им, Пришибент ознакомился с двумя языками в дополнение к "блеванной фене-дряни" (выражение доктора), на которой взращен был современный ромерийский народ. Марфе Викторовне по многу раз снился Жорж в пору его иссиня-черных волос и бирюзовых глаз; Италия, куда они молодоженами отправились в путешествие; зимние очереди перед тюрьмой, в которой держали Дочь до приговора... другие очереди, которые правильно было бы обозначить "продовольственными". Иногда снилась дача родителей на Французском бульваре... В последний год стали одолевать кошмары... целыми нашествиями. Она даже испугалась, что заразилась снами мужа. Одна акварель всплывала чаще других:

¹ И.А. Бродский, "Элегия Джону Донну".

пузырчатый Cancer Rex в золотой короне и длинной мантии, наброшенной на женскую грудь... Пришиент пришел к заключению, что сон ее был симптоматичен и, скорее всего, свидетельствовал о латентной опухоли.

Сны Дочери были сложными, со сценами истязания, молитвами, с трудными походами в горы, которые неизменно завершались падением в пропасть. Иногда ей снился высокий блондин, с которым Пришиент не был знаком. Она называла его Станиславом или "мой пяст". Несколько раз Пришиент наблюдал сцену его расстрела в холодном подвале: он с открытыми зелеными глазами — они за деревянным щитом, чтобы кровь и мозги не забрызгали мундиры.

В рассуждениях Пришиент все больше уверялся, что прогресс в Ромерии прослеживался в методах устрашения и способах удовлетворения нужд отдельных граждан. Странные отношения были у людей со временем. Оно бессмысленно награждало опытом живые тела, по мере того как само же их разрушало. Душа не занимала умы трудящихся... Такая категория, по-видимому, была отменена. Часто слышалось о производственных обязательствах и "витаминизированных болванах". Последнее положение волновало Пришиента своей таинственностью, потому что комментировалось всегда шепотом, отчего за странным термином чувствовалась особая значимость. Что-то было навсегда утрачено в этой семье со смертью Создателя, но, поскольку опыт Пришиента сводился лишь к наблюдению жизни в одной комнате, ему трудно было сформулировать свои ощущения. С тех пор, как две женщины стали проводить время исключительно в бывшем кабинете доктора, знания Пришиента о бессонной реальности существенно расширились, хотя впечатления его не изменились.

Мать и Дочь дрыхтели. Комната ветшала. Стены от копоти и пыли стали желто-коричневыми. Одна балконная дверь была заколочена, потому что начала разваливаться. Крыша протекала уже много лет. По расчетам Пришиента потолок должен был рухнуть через семь месяцев после смерти Марфы Викторовны. Трагедия произойдет в пять часов утра. Обломки балок и камни искромсают тело Дочери. Несколько часов агонии — и она скончается под завывания Натальи Филипповны, сестры Станислава, и всхлипы сморщенной черепашки — Леонтии Казимировны. Его собственная судьба была неясна. Пришиент мог только догадываться, что его ожидает вечный плен под штукатуркой, нанесенной солдатами полка особого назначения.

— Странная участь: были — и бесследно исчезли... Как сны...

Раздражала сажа, из-за которой он не видел комнаты. Информация по-

ступала к нему через звуки. Постоянно вздыхала Марфа Викторовна. Ее "охи" стали подобны тиканью часов. Дочь гремела кастрюлями и тазами, реже отхожим ведром, звенели пустые бутылки, недовольно мяукали коты, и что-то падало мимо стола... Были и приятные звуки: постукивание ложечек о чашки, переборы гитары... Эти случались, когда к Цамакионам приходили гости. Иногда старые знакомые приводили новых людей, чтобы представить "последним носителям". Что "носили" Мать и Дочь, Пришиенту было непонятно. От визитеров Пришиент почерпнул сведения о диалектике совпадения противоположностей, об аврале в конце месяца на каждом производстве, о полевых работах младших и старших научных сотрудников (почему-то "средних" никуда не посылали), о просодии английской поэзии, о строптивом Академике, о черных дырах и потере бдительности...

Дыр, видимо, было много, потому что о них спорили горячо, настолько горячо, что Пришиенту в собственных снах иногда мерещились тысячи дырочек и дыриц с "витаминизированными болванами", руководящими совпадением противоположностей на каждом научно-полевом аврале, в котором сотрудники увлеченно "теряли бдительность". "Потеря бдительности" скорее всего, была новой игрой, которая, судя по "недосказанностям", пользовалась необычайной популярностью, потому что число участников росло...

Сны... В поэтическом варианте *грезы*... По-французски, *rêves*, но и они же *мечты* и *бред*, и *безумные желания*, и *недоступное волшебство*, потому что *rêves*... В ромерийском — примерно то же, но еще и *печаль*... *мечтательная тоска*, *романтический порыв*... Только рифмуется со словом "*слезы*"... оттого что ромерийское... В английском *сон* и *мечта* — одно и то же. Большое удобство — одним словом "*dream*"...

После стольких зим уже безразлично, что или кто стоит в углу у окна за шторой, и в мозгу раздается не неземное "до", но ее шуршание. Жизнь, которой, как дареной вещи, не смотрят в пасть, обнажает зубы при каждой встрече. От всего человека вам остается часть речи. Часть речи вообще. Часть речи.¹

¹ И.А. Бродский, "Часть речи".

Надо бы подучить английский от кого-нибудь, — рассуждал Пришиент,— в нынешнюю пору нужнее иностранного нет. Только как научатся, уезжают... Что-то есть в этом языке непоседливое...

Марфа Викторовна подошла к закопченному простенку, потрогала пятно и по-старушечьи потрясла головой:

— Потерпи немного... Уже недолго... Мы тебя сейчас отмоем... и, если получится, выпустим...

В голове Пришиента что-то щелкнуло и, если бы не стена, он наверняка б свалился в обмороке... Как обойдется его освобождение?... Странное чувство сковало мозг... Неужели страх?... Он и не предполагал, что способен на переживания. Ему была доступна игра ума, сарказм... наконец, эгоизм, особенно когда дело касалось счетов с чужой жизнью... Его охватывал азарт, как игроков в карты... Он любил философствовать, выказывая преимущество... перед самим собой... Теперь же, когда свобода была так реальна, его охватила паника: что, если его ждет участь ущербного калеки? Покой возможен был только в стене, но не среди людей без хоботов... С другой стороны, исчезнуть под слоем цемента?..

Дочь сняла с примуса ведро, окунула тряпку в теплую воду и достала мыло... Потом взобралась на стул и принялась тщательно увлажнять хобот...

Голова его кружилась... Видения в беспорядке сменяли друг друга: священный Ганг, обыкновенная грязная вода... чавкающее перо, неутомимо строчащее чужую судьбу... гофрированная совесть в судейской мантии... и шут в средневековых доспехах, выкрикивающий одну и ту же фразу "Отсутствие разницы всем безразлично!..".

— В меня вселяются ужасы доктора! — мелькнуло под париком Пришиента. Он зажмурился от сильного света, а когда открыл глаза, вновь увидел перед собой запущенный кабинет Создателя. Дочь старательно протирала хобот, в то время как Марфа Викторовна очищала ноги и хвост. С улицы доносилась трескучая песенка:

Эй, красотка,
хорошая погодка,
А на мне пилотка,
как морская лодка...

— Неужели они не слышат этого кошмара? Или настолько привыкли, что не обращают внимания? А, может быть, настали новые времена? Нет,

скорее, продолжение видений... Пришиент попробовал опустить вздернутый хобот — ничего не вышло.

— Ну как? — Дочь сошла со стула и оглядела очищенную фреску.

— Мне кажется, он готов... — прошептала Марфа Викторовна. — Я сейчас...

Марфа Викторовна подошла к книжному шкафу, достала растрепанный томик:

If they be two, they are two so
As stiffe twin compasses are two,
Thy soule the fixt foot, makes no show
To move, but doth, if th'other doe.¹

Хобот Пришиента свалился сам по себе. Скованность исчезла. Он легко покрутил рукой, другой, скорчил гримасу и подпрыгнул на длинной ноге.

— Получилось! Получилось! — закричал он и вдруг осекся... сделал шаг в стену и церемонно поклонился обеим женщинам.

— Доктор — мой Создатель, но Спасительницы мои — вы!

Марфа Викторовна и Дочь улыбались и прикладывали ладони к изображению, как будто пытались пожать лиловые когти. Но его движения по-прежнему были ограничены стеной.

— Он выйдет, если мы прочтем вторую строфу... ту, что на ставне в спальне... Как ты думаешь, если я постучу и попрошу меня впустить на минуту?..

— Ты сошла с ума, мама! Полковник на тебя натравит собаку или вызовет милицию. Мы ничего этим не добьемся... Надо придумать другое... Может быть, Пришиент знает?..

— Не забудь, с ним можно вести разговор только в счет собственной жизни.

— Мама, у меня уже столько украдено...

— Нет... Лучше я... Я поговорю с ним сама!

Марфа Викторовна подняла глаза:

— Ты все слышал, Отраженная Мудрость? Что скажешь?

Пришиент неуверенно покачал хоботом:

¹ Стихи Джона Донна в переводе С. Степанова:

*Двойная доля нам дана —
Как ножки циркуля, мы вместе:
Когда в движении одна,
Другая тож, хотя на месте.*

— Мне доставляет необычайное удовольствие...

— Прекрати! У нас нет времени... И у тебя тоже. Если они отберут комнату, ты погибнешь!

Марфа Викторовна погрозила пальцем... Хотела сказать еще что-то, но неожиданная боль пронзила грудь и живот. Она согнулась и повалилась на пол. Дочь в тревоге заглядывала матери в глаза и каждую минуту переспрашивала:

— Может, все-таки вызвать?..

Марфа Викторовна качала головой... Боль отступала, но тело охватила слабость... Дочь помогла ей добраться до кровати... Голова упала без сил на подушку...

— Подойди к нему... Спроси, что делать...

Лидия повернулась к Пришибенту:

— Как заполучить вторую строфу?

— Увы,— отозвался Пришибент. — Мне неизвестно, ибо моя жизнь вне моего сознания... Мне бесконечно...

— Черт побери! Твоя болтовня невозможна! Как только отец тебя выдерживал?

— Мы были единством противоположностей, в котором каждый считал себя первичным...

Дочь махнула рукой и отвернулась к матери:

— Я должна посоветоваться с друзьями, мама. Другого выхода нет. Может быть, раздобыть подзорную трубу... Наверняка что-то можно придумать. Но нам не обойтись без посторонней помощи...

— Я согласна... — Марфа Викторовна тихо плакала.

— Что случилось, мама?

— Я думаю, мне осталось недолго...

— Ну что ты? Что ты, мамочка? Прошу тебя...

— Иди, позвони Тамаре... и еще Полторацким... только ничего не объясняй по телефону... Скажи Николаю Алексеичу, я хочу его видеть.

— Хорошо... Я скоро вернусь. Поспи...

И где-то там, за горизонтом, невидим и неосязаем, а только ожидаем... плывет плот, и горят все свечи, а на парусе "тужатся" под напором ветра две буквы "J. D." Плот облетают чайки... а некоторые садятся на него... Анемичное солнце на северном белом небе... Жизнь еще не наделена воспоминаниями... но колесо уже сваливается с оси... Странствия! Его ожидают странствия... и одинокая слава в пути...

Разрастаясь, как мысль облаков о себе в синеве,
время жизни, стремясь отделиться от времени смерти,
обращается к звуку, к его серебру в соловье,
центробежной иглой разгоняя масштаб круговерти.¹

Плот прибило к противоположному берегу. Три свечи погасли... Одна, еще горевшая, опрокинулась и скользнула по материи. Огонь проел дыру в парусе и уверенно подкрадывался к буквам. Волною плот выбросило на пологий берег... Еще две свечи свалились в воду... Плот накренился... Мачта сломалась, но последняя свеча горела все ярче... Может быть, оттого, что сгущались сумерки...

— Алло, это квартира Полторацких? Николай Алексеич? Да, Тамара... Вы узнали? Уже слышали от Леонтии Казимировны?.. Да, она мне тоже звонила... Ужасно! Не могу поверить... Несчастливая! Нет, без сознания... только в бреду повторяла "ставень"... Вы думаете, они разрешат похоронить в той же могиле? Поговорите с Увяловым... Если его заинтересовать... К ним в дом?.. Ради Бога, не ходите! Я только что оттуда... Жуткое зрелище! И крыша, и балки... Сплошная гора мусора! Только стена с уродцем уцелела... Лидию Георгиевну?.. Когда разгребли камни, нашли под ставнями... Наверно с чердака... На одном нацарапаны стихи и плот с семисвечником... Думаю, сам Георгий Дмитриевич... Ставень я увоклала домой... Стоит в коридоре...

Тамара повесила трубку, повернулась к ставню... Долго смотрела на строки... на парусник со свечами... задумчиво покачала головой и прочла вслух:

А если ты дом покидаешь — включи
звезду на прощанье в четыре свечи,
чтоб мир без вещей освещала она,
вослед тебе глядя, во все времена.²

Пришибент соскочил со стены на гору щебня и стал пробираться к лестнице. Длинная нога мешала сохранять равновесие. Он то и дело припадал на короткую ногу и с силой отбрасывал тело назад, отталкиваясь тростью от ступенек. На улице за ним увязалась собака.

¹ И.А. Бродский.

² И.А. Бродский.

Она пыталась ухватить зубами волочащуюся позади зеленую кисточку. Двое мальчишек остановились рядом. Сначала они строили рожи, а когда он поднял хобот, чтобы отогнать их, отбежали и принялись швырять в него камнями. Со второго этажа синего дома разнесся вопль "Ёмаё!". Старуха, мывшая балкон напротив, замерла с тряпкой в руке... Потом спохватилась и опрокинула ведро с грязной водой на Пришиента. Еще через несколько минут вся улица визжала и свистела... В него летели палки, арбузные корки... Кто-то выстрелил из рогатки, и он взвыл от боли...

Затравленный, в ссадинах, Пришиент беспомощно озирался, крутил хоботом и ревел Трубным Голосом... Все ближе вой полицейской сирены... уже на соседней улице... Пришиент поджал короткую ногу и, подпрыгивая на длинной, дотянул до канализационного люка, тростью поддел крышку и свалился в черноту...

Ночью он выбрался на поверхность через другой люк в другом конце города. Не успел он разогнуться, как услышал сзади:

— Хэ! Таки отвязался! Во дурило!

Пришиент оглянулся и увидел статую обнаженного мужчины из белого мрамора. Он потянулся к нему хоботом и тут же отпрянул. Мраморный замахнулся на него и сделал свирепое лицо:

— А ну, мандупай назад в музей!

— Я не из музея... Я из дома...

— Пс! Откудава у таких дом? Вы макуклые... хуже фраеров... Вечно хрындючите... Мандупай в музей, пока копытишь...

— Почему в музей?

— Ты шо... не муздякаешь? Я в законе голый и шага как бы не сдыкаю, а типа прозведение... на меня позырить за день тыщи три туристов пиньдчат. Адонис моя кликуха... Може слышал?.. По грецкой мифке... Муздякаешь? Так я той самый! Ну, малость подмаздулился... шоб в ногу... Да ты рожу свою не щепуцкай! Ко мне все тузы с понтами кантую на фотку жахнуть для истории. Сам городской пиндон скубрякает... И задыкать меня фиговым листом все цырдячит... Козел! Вечно безыкает, как мимо спюкает... А на зиму музейные мяки в перзерватив завертают... Канлюкаются, янды их в плюхру!.. От житуха в экспозиции!.. Защерись!

Мраморный смачно сплюнул под пьедестал, обтер рот тыльной стороной ладони и замер в торжественной позе.

Пришиент пожал плечами и отвернулся... "До стены не меньше двух часов..." Он взглянул на циферблат городской управы — времени было до-

статочно, чтобы успеть до рассвета. Цоканье трости в темноте то затихало, то становилось вызывающе громким...

С замиранием разглядел Пришиент балконы и два темных дверных провала. Он набросил лассо хвоста на узорчатую решетку, затянул петлю и стал карабкаться на второй этаж. Одолев перила, Пришиент обмотал хвост вокруг головы и с кряхтением взобрался по обломанной балке на родное место...

— Может быть... — шептал он, — может быть... если когда-нибудь выпрямится кривая иррациональной истории... и произойдет спрямление хода времени... Тогда непременно...

